

Я ИНОГДА захожу в этот театральный дворик. Когда открыт просм в тыльной стене театра, в темной глубине угадывается кладбище отыгравших свой век спектаклей. Все свалено в кучу: «списанные» деревья и стены, старинные кресла, канцелярские шкафы, венские стулья.

Таковыми их никогда не видел зритель.

Деревья были живыми, из окон кто-то смотрел, мечтал и надеялся. Спектаклей давно нет, а декорации еще существуют.

Придет время — вот так же спишут вещественный мир и моих пьес. Кресло, в котором дремала старая безумная балерина, забросят в угол. Трибуну стадиона, сколоченную мощной рукой Давида Боровского, превратят в груды крашенных досок.

Спектакли снимают, но в них была не только бутафория, отмеченная в бухгалтерских ведомостях. Были актеры и люди, которых они изображали.

В назначенный вечер на холодной темной сцене устанавливают предметы. В зале ритуально стягивают с кресел покрывало. В фойе уже шумят, и шум этот нарастает. И вот пошли из всех дверей зрители. Зал ожил, зашевелился, но все это до тех пор, пока свет под потолком не начнет медленно убывать.

И наступят тьма и тишина, в которых рождается театр. Взойдут театральные светильники над сценой, и из-за кулис, как будто из другого измере-

# Г Е Р О И О С Т А Ю Т С Я С Н А М И

ния выйдут актеры на дощатую твердь для творения искусства — нашей второй жизни.

В юности с другом, поэтом Вадимом Корнеевым, мы часами стояли на улице и смотрели на человеческие лица. Ликуя, смеясь, перебивая друг друга, мы пытались угадать, каким героям эти лица могли бы принадлежать.

Шел по курским улочкам Цезарь — император Рима, поддерживая единственной рукой точильную установку. Цезарь смотрел на сограждан и триумфально кричал: — Ножи, бритвы, ножи тучи! Если есть мясорубка — давайте поточим!

Как и положено императору, он был дальновиден — не у всякого курянина в то трудное послевоенное время была мясорубка.

У ларька с надписью «Вино» в это же самое время горячо говорил парикмахер с лицом Чацкого — пьяница и гаер, и непонятно было, за чем ему дано такое тонкое, благородное, такое грибовое-довское лицо. Гремела по бульварной мостовой повозка курского Дон Кихота, развозившего керосин. С лицом, полным возвышенной грусти, стучал благородный рыцарь гачным ключом по цистерне, сзывая народ. И люди выходили из дворов с бидо-

нами, как бы повинувшись этому зову, а нам казалось, что не керосин разливал он, а некую таинственную жидкость, делающую людей счастливыми.

Театр был вокруг нас, и мы щедро распределяли великие роли. В юности мы верили, что эти люди, буднично погруженные в свои заботы, способны к другой, пусть выдуманной, но прекрасной жизни.

Я верю в это до сих пор. Они всегда находились рядом — и Цезарь, и Дон Кихот, и обитатели моего двора, не знавшие ничего о Сервантесе и Римской империи.

В ИСКУССТВЕ ничто не существует отдельно. Все движется, ищет друг друга для того, чтобы заново родиться, потому что искусство — продолжение жизни.

В тот самый дворик, где иногда думаю о живом театре, глядя на кладбище театрального реквизита, вышел Михаил Ульянов с усталым после репетиции, но таким знакомым миллионам людей лицом.

— Кустов умер, — сказал Ульянов печально, — Алексей Иванович. Жена его мне написала... Умер...

Ульянов репетировал Наполеона, а Кустов был прообразом одноименного героя, сыгранного им в нашем филь-

ме «Последний побег». Один лежит на острове Святой Елены, другой — в Сланцах, на безвестном кладбище, недалеко от террикона сланцевой руды, выбранной из шахты имени С. М. Кирова. Никогда они не должны были встретиться — император Бонапарт и Алексей Кустов.

Свел их художник Ульянов и тому, и другому продлил жизнь, дав свое лицо, голос, душу. Как хорошо, что Кустова сыграл Ульянов, что все-таки есть фильм и роль в нем теперь как памятник этому живому, подлинному человеку.

В Кустове естественно соединились мужицкое жизнелюбие, чуткий слух к человеческой душе. Он был музыкант и артист. Читал Твардовского, изображая Теркина в солдатской гимнастерке, звеня своими, а не бутафорскими медалями. Играл на трубе марши, шагал так, что ходила ходуном клубная сцена Дома культуры горняков.

А по утрам он рассказывал мне свои сны. Длинные составы шли в них по темным полям. Разные города посещал он и страны. Шел по незнакомым улицам. Отпирал чужие двери, попадал к неведомым людям. В последних снах старики сидели на табуретах и звали к себе, а он все обещал, отшучивался и ехал дальше.

— К чему старики? — спрашивал он меня и улыбался. — Нет, чтобы девчат помоложе мне показать — суют каких-то пенсионеров. Он ведь сны свои воспринимал как чье-то искусство. Жил Кустов с войны с кусками металла в теле. Характер сложный имел. Был совестлив и честен, потому ждал того же от других. Проработал полвека на стальных магистралях, оттого и сны его были вечной колеей, бегущей навстречу. Постарел — стал возиться с трудными подростками. Организовал оркестр в спецшколе. Они открывали праздничные демонстрации. Это было забываемое зрелище. Впереди колонны трудящихся шла горстка пацанов, и рядом с ними трубил Кустов. Ребячья медь звенела и жгла. Глядя на таких музыкантов, женщины плакали, жалея ребят со сломанной судьбой, так чисто и единодушно выводящих праздничные марши.

Со слез начинались праздники, а может, это были слезы кустовского искусства. Прожил Кустов жизнь и никому не сообщил, что он положительный герой. Был человеком заметным в городке, но никто не хвалил его в глаза, скорее наоборот. Он меня любил за то, что я его слушал. Его язык зачаровывал меня. Животворный, образный, свой, он рождался

чудом, прямо на глазах. Речь его была чиста — потому что чисты были его мысли и совесть. Речь была весела и свободна, потому что таким был он сам.

В нем всегда сильно было намерение жить, потому что его жизнь была осмысленна в жизни большой, общей. Он защищал ее и на войне, и потом воевал ежедневно, исправляя несовершенные души своих пацанов.

Ульянов многое вложил в эту роль. Он прилетал в Сланцы, где шли съемки, иногда всего на несколько часов. А после самолета надо было еще двести километров ехать на машине. Иногда в тот же день улета обратно в Москву, чтобы успеть к спектаклю. Уверен, что со смертью Кустова что-то ушло и из его жизни, и он осиротел. Артисты ведь не просто учат слова наизусть, чтобы произносить их на разные лады. Они выдирают их из собственных нервов. Они мучаются, как всякий, кто хочет, чтобы не светлым и пустым оказался их труд, а кровным и нужным людям.

Вспомнил свою юношескую забаву — примеривать великие роли к безвестным людям. Кустову, герою своего сценария, оставил имя живого Кустова. Не мог соединить с ним придуманное. Он был настоящим, и таким его сыграл Ульянов.

Кустов в нашем фильме

умер. Живой Алексей Иванович видел свою собственную смерть на премьере картины в Сланцах. Он так волновался за всех нас, за успех картины, что не заметил этого. Он всегда забывал о себе.

— Дед, — весело напомнил ему после просмотра, — а ты куда? Ты же там умер!

— Герои не умирают, — сказал Кустов.

Он, как всегда, смотрел в корень. Покуда буду жить — в моей душе останет-ся Алексей Иванович с широким и благородным сердцем. Жизнь — это лопка, движение, борьба. Лучшие современные пьесы об этом. Смысл театра — будить душевные силы человека. Драматургия должна ставить и повторять вопрос: в какую ли меру осуществляется человек? Человек, и ничто иное. Люди не декорации. Они списанию не подлежат.

Сцена всегда ждала глубокие художественные образы. Их жизнь в сознании зрителя сложна и неоднозначна. Ведь мало кому пришло в голову, подобно герою Сервантеса, нападать на ветряные мельницы. Но многих он обратил к несправедливостям, творимым на свете, многих укрепил в вере в добро и справедливость.

Я встретил Зинку в ее дворе. Она смотрела печально на свои окна.

Кустов в нашем фильме

Я увидел лицо проводницы, проплывшее в раме вагонного окна. Прекрасное лицо, отрешенное от путейского быта.

И все. С тех пор я его никогда не видел.

Но что-то случилось! Меня неодолимо потянуло вдохнуть душу в этот немой портрет.

Ведь она проводница, а значит, ее не заедают будни. Она дышит вольным ветром полей, и веселая дрожь вагонных разгоняет ее кровь. Я что-то знаю про нее — стал убеждать я себя. Да-да! Ведь история Зинки-киномеханика, умевшей мечтать и любить, давно ждала своего часа.

Каждый вечер Зинаида крутила в клубном кинотеатре фильмы, в основном о красивой любви. Одна вырастила сына, отправила его в армию и заскучала. Не о ком было заботиться. Длинными показались дни до начала вечерних сеансов. И тогда она полюбила одинокого, пустого, забубенного мужичка. Пустила в дом. Отучила от водки. Они жили ровно два года, пока не пришел из армии сын, красавец-пограничник. Привел невесту чуть ли не на следующий день.

... Поезд остановился на ночной станции. В другую сторону с соседнего пути, дрогнув, пошел состав.

Я встретил Зинку в ее дворе. Она смотрела печально на свои окна.

Кустов в нашем фильме

Я увидел лицо проводницы, проплывшее в раме вагонного окна. Прекрасное лицо, отрешенное от путейского быта.

И все. С тех пор я его никогда не видел.

Но что-то случилось! Меня неодолимо потянуло вдохнуть душу в этот немой портрет.

Ведь она проводница, а значит, ее не заедают будни. Она дышит вольным ветром полей, и веселая дрожь вагонных разгоняет ее кровь. Я что-то знаю про нее — стал убеждать я себя. Да-да! Ведь история Зинки-киномеханика, умевшей мечтать и любить, давно ждала своего часа.

Каждый вечер Зинаида крутила в клубном кинотеатре фильмы, в основном о красивой любви. Одна вырастила сына, отправила его в армию и заскучала. Не о ком было заботиться. Длинными показались дни до начала вечерних сеансов. И тогда она полюбила одинокого, пустого, забубенного мужичка. Пустила в дом. Отучила от водки. Они жили ровно два года, пока не пришел из армии сын, красавец-пограничник. Привел невесту чуть ли не на следующий день.

... Поезд остановился на ночной станции. В другую сторону с соседнего пути, дрогнув, пошел состав.

Я встретил Зинку в ее дворе. Она смотрела печально на свои окна.

Кустов в нашем фильме

— Граница на замке, — сказала она. Но эти два года Зинка-киномеханик ставила свой фильм о любви. Зрителями были все жители поселка. Она стала красивой — огненно рыжий парик горел на ее голове. Платья стали значительно короче.

— Чума, — стали шептаться бабы у нее за спиной. Но ее нельзя было уже остановить. Она поняла, что многого достигнута, если только вспомнить о своей способности любить.

Ничто в Зинке не годилось для подражания. Никому в поселке она не казалась ни положительной, ни хорошей. И осуждали ее, и смеялись над ней.

Ведь когда сын привел жену, тесно стало всем. Молодые оказались сильнее. Друг Зинкин был лишней, да и она сама тоже. А уж любовь ее, светлые платья, цветы! Зачем все это, когда появились внуки, и новая семья совсем оккупировала территорию.

Зинка ушла из дома. Она ютилась с другом сначала в кинобудке. Оттуда их изгнали. Они жили в шалаше, в поле за рекой. Издалека доносились пение, горел костер по ночам. Наведалась туда милиция. Справедливо — люди ведь не должны жить в полях. И Зинка-киномеханик исчезла. Успокоился поселок, и стало тихо.

Зинка спасала свою позднюю любовь не для себя. Она воевала не с сыном и не за площадь, а за свою ускользающую мечту.

Зинка спасала свою позднюю любовь не для себя. Она воевала не с сыном и не за площадь, а за свою ускользающую мечту.

Она построила в душе город счастья и защищала его как могла. Наивная и чистая, она, как и Кустов, не могла смириться с застывшим, отмеренным бытом и представляла жизнь иначе. Она была одухотворена любовью, пусть смешной и нелепой. Когда пришлось эту любовь защищать, она поняла, что без нее рухнет мир.

Я написал о ней пьесу «Наваждение» и дал своей проводнице Зинкино имя. Я люблю эту героиню, и мне кажется, что ее любит актриса Антонина Дмитриева.

Спишут фанерные стены ее неустроенной квартиры, или разнесут для других спектаклей... но голубых, живых и нежных глаз Дмитриевой нет в бухгалтерских ведомостях.

Она пока еще смотрит в зал, наша Зинаида, — непутевая, очумевшая от любви и веселья.

А прообраз ее, Зинка-киномеханик, гуляет по белому свету, жива, и как бы мне хотелось, чтобы она жила подольше.

ЕСТЬ люди, жизнь которых вся отдана общей цели. Мой друг, физик Аль-

берт Ключихин, исписал формулами километры бумаги. Годы, дни и ночи живет этот человек среди своих непонятных знаков и цифр. Кандидат в доктора не торопится. Не преувеличу, если скажу — выше этого. Предан только сути.

Мыслит широко, на уровне века. Видит горизонт событий гораздо дальше отмеренного. Как о нем написать? Сколько их было — преданных науке! Рассказать о том, как отрывают от формул, чтобы перебрать овощи на базах? Он и это делает серьезно и обстоятельно, как все на свете.

Видимо, сейчас другое время. Физики обходятся без нас, лириков. Серьезные люди занимаются серьезными делами. Не надо и нам мелькать. Есть много и у нас важных, мучительно назревших забот.

Машина совершенствуется куда быстрее, чем человек. Один смотрит на планету с орбиты, в то время как другой не знает — вставать ли ему с постели и за чем начинать новый день. Ни цели у него нет, ни мыслей о прошлом и будущем.

Театру тысячи лет. Он способен и должен воспеть величие человека, но он может и должен говорить правду о том, что уничтожает личность.

Если появился в свете рамы человек, не способный к поступку, так это не обязательно оттого, что автор не знает, какие поступки должны совершать порядочные люди.

Сколько их, несовершенных поступков, не сделанных дел, не рожденных идей!

Театр не гимнастика чувств, не духовный массаж. Прямой пользы от него нет. В театре выращивают человеческую душу. Ее согревает смех, а питают слезы. И все это лишь игра, но дарящая наслаждение гармонией и правдой и изумительной способностью человека играть воспроизводить самое жизнь. всякий раз убеждая, что жизнь возникла и так долго и трудно совершенствоваться не напрасно.

Герои приходят из толщи жизни, заставляя себя любить. Они поселяются в сердце, становятся частью тебя самого, обогащают твой язык, расширяют твой мир.

В печальном дворике московского театра я опять вспомнил родной Курск, то место, где мы с поэтом Вадимом Корнеевым раздавали курянам замечательные роли. Там теперь стоит здание нового областного театра. Огромный белый дворец с бронзовой девушкой на крыше, видной если уж не от Тулы, так от Орла.

Он стоит посреди старинного города, как мой сбывшаяся мечта о театре. Вокруг буднично живет и трудится город, и хотя не гремит по бульварикам повозка Дон Кихота, не будят тишину крики точильщика Цезаря, новые лица сменяют друг друга, и много среди них тех, кого еще назовут их собственными именами.

А. ГАЛИН.